

Василий Киляков

Зарницы памяти

Однажды, измарав уже изрядно бумаги увлекательной выдумкой, оторвавшись от исписанного листа и возвращаясь к нему вновь, вдруг ясно до скуки почувствовал, что всё-таки это выдумка, пусть даже и удачная — но неправда, сочинительство. Жизнь же сама по себе куда таинственней и сложней, она ведёт путями, которые не придумать и не проследить. И вдруг стало так понятно, так открыто, что всякая выдумка — лишь пустая трата жизни, и своей, и чужой. Открылось так трагически очевидно, что с возрастом стыдно даже и перечитывать, а не то что продолжать всё так же выписывать надуманные образы, события, измышлять, что вот-де жил такой-то человек под такой-то фамилией и с таким-то воззрением на мир, вздорным и забавным, с этаким эксцентрическим, не по лекалам, характером... Тогда как на самом деле такого человека вовсе никогда не существовало, и не ходил он так часто, как придумано в книге, по такой-то (будто бы) улице... и не встречал Ивана Петровича... и жену его Марию Дмитриевну, которую когда-то страстно любил, и так далее, и прочее...

И писатель записывает, считывает узоры стекляшек собственного своего причудливого калейдоскопа воображения, фиксирует на бумаге его переливы; смену красочных мозаик из стекляшек и игру света на них... И знает очевидно, что и это всё опять-таки ложь. И от этих придумок, пусть даже очень похожих на подлинные события, становится порой неловко, грустно даже перед самим собой. И тем грустней и трагичней, чем более увлекаешься этими фантазиями. И так же нелепо писать самому прозу реалистическую, как читать какого-нибудь *постмодерниста*, с этими перегибами в угоду похотывающему и потирающему ручки читателю и перипетиями, чтобы только понравиться этому предполагаемому читателю.

Серьёзно и... пусто. Как если бы ты тащил два закрытых ведра, предпологая, что в них золото. Тащил тяжело, обливаясь потом, в гору, по жаре... Принёс, перевёл дух, открыл, а там обыкновенные камни-голыши, шпат, слюда. И дело тут не только в сентенции наподобие: «Ну что, в самом деле, можно придумать нового к тому, что создано самим Творцом, что придумать к известным

уже сюжетам, которые Софокл ещё определил по пальцам одной руки, что добавить к тому, что написано уже греческой мифологией, поставлено греческим театром до нашей эры, к фантазии древних, к которой нечего и прибавить, разве чуть-чуть видоизменить её?..»

И вот, когда читаешь даже и очень больших, признанных писателей — всё равно остаётся какой-то осадок игры, условности... Подмигивая друг другу: писатель читателю и наоборот, — составляется ощущение «несерьёзности» этого серьёзного дела — творчества. Ощущение условности его как дела второстепенного. А играть уже некогда: годы.

То же, смею предположить, испытывают и актёры, когда от репетиций мало-помалу подкрадывается время к премьере, игре итоговой как таковой, главной. А их, актёров, всё занимают некие формальнвые «разборки», выяснения отношений по пустякам, кто и кому насыпал толчёного стекла в ботинки либо увёл жену или любовницу и прочее. Настоящее — оно само просит выхода, и вот, играя под камеру «в войнушку» или разыгрывая в театре «любовь», они так же скучают порой, так же начинают стыдиться сыгранных ролей (и часто чем выше талант актёра, тем паче стыдно ему — за сыгранное ранее). Отсюда и общеизвестные розыгрыши во время спектаклей, записки на подносе во время игры, шутки-прибаутки; втайне от зрителя они мстят друг другу, сводят счёты незаметно и так далее. И кажется и писателю в минуты «творческих кризисов», что отвлекать читателя по придуманному поводу — по причинам не подлинно пережитого писателем (актёром) события — должно быть совестно и имеет смысл только по острой, по самой крайней необходимости, и то очень коротко, содержательно и правдиво. Потому что если подсчитать, сколько отнято человеческого времени на пустоту, на занятия самые ничтожные, то станет страшно.

Писатель, злоупотребляющий доверием читателя, не **многим** лучше убийцы. Просто потому уже, что убийца хоть и причиняет боль, и отнимает жизнь... и сколько, если он не маньяк?... одну. А это — двадцать, много — тридцать лет, недожитых лет... А сколько отнял лет жизни

у своих читателей какой-нибудь пустотой — пусть и занимательной, и увлекательной, но и бессодержательной при этом, — «модной» книжицей своей этакий «писатель», отвлекаая от главного в жизни каждого человека?.. И это речь о классиках, писателях, проверенных временем, а не о каком-нибудь «Баяне Ширянове», которому даже и самому-то по имени собственному, наречённому родителями, и объявиться стыдно, а вот — лишь подписаться под всей той гряздой, которую накопал этак для прибытку и — чтобы почитывали его «хохму», или «иронический детектив» какой-нибудь бабёнки, или иную книжицу, которую навалял штат авторов из молодых кретинов, работающих под вывеской раскрученного брендового писателя «для массового читателя». Если посчитать, сколько лет уплыло читательских у разных людей, не одна, не две, а то и сотни три, быть может, жизнью сложатся в тысячи часов, которые пропали в чтении пустом, как в разгадывании кроссворда...

Есть в сегодняшнем протесте читателя и отказе его от чтения и здравый смысл, не только лень или поза: сколько же можно и в самом деле дурачить публику, предполагая, что «публика — дура», и подсовывать низко чтиво?.. Конечно, издёвку над собой и этакую «шабашку» писателя современного заметит отнюдь не всякий, потому что для этого нужно «начитать» вкус, любить слово, получить образование, литературное или филологическое. Возможность и желание наработать, вырастить в себе читателя есть не у всех, да и опять-таки нужно время, а где его взять в наш век быстрых технологий? И вот результат: сколько же отнято времени у тех, кто читал чепуху. Те, кто ничего не читал, быть может, в выигрыше. Они не приобрели ничего, зато и не потеряли. А если сложить потерянное время всех тех, кто принимался читать нынешних писателей, — повторю: если сложить всё время, убитое над пустопорожней какой-нибудь Бляхиной (с её «трактовкой» «тёмных пятен российской истории») или Недашковой (с её «колобками»-супругами и прочим), то сколько получится потерянных душ? Даже и не двадцать, не тридцать лет. А двести, триста (смотря по тому, сколько людей в сумме читало изданную дрянь). Сказано свыше: «Не бойтесь убивающих тело, души же убить не могущих...» Бояться следует, по Завету от Бога самого, единственно «убивающих душу».

...С таких размышлений и началась эта книга. Именно с этого дня, с этого часа размышлений и озарения «внутренним созреванием» — начался дальний мой поход через таинственную и необъятную, ни взглядом, ни мыслью не обываемую, невидимую внешне «страну Зеро», — движение моё сквозь тайные туманы и непостижимую в тайнах своих и парадоксах страну, называемую нашей сегодняшней жизнью. Движение по-иному,

чем ходил раньше: пристальнее присматриваясь только к явной очевидности и тотчас делая выводы. Иногда, напротив, далеко даже и не сразу, а возвращаясь к этим записям с натуры, как художник возвращается к эскизам, к офортам, через годы. И тогда — и тогда, к моему удивлению, стал сам я находить в самом себе интересного собеседника. И стал явно слышим некий — обратный в самом себе — «поток сознания». Порой пропускал, принимая за незначительное, некие моменты истины — или оттого, что обмирал от неожиданности, надеясь запомнить и отдать моему читателю размышление или зарисовку, через призму своей внутренней клетки пропущенные, но в дальнейшем это пропадало — просто потому, что забывалось или уходило так же, как и пришло, то есть неожиданно, — или не было времени тотчас записать мысль, или не на чем было записать, или не записывал принципиально, потому что увиденное казалось мне слишком бесспорным или слишком ярким и удивительным одновременно, и казалось, что такое забыть уж точно невозможно, но — и оно забывалось... Лишь впоследствии стал понимать, что записывать всё-таки надо, что записанное сразу — стоит едва ли не целого воя воспоминаний. Потому что не всё и не всегда открыто, некоторое открывается внезапно и лишь «внутреннему оку» человека именно через сопричастность, и оттого — таинственные это дары, редкие, не без вмешательства свыше — это те именно дары нам, которые мы не слышим, не видим, пропускаем без пометки: «над ними задуматься».

Я стал набрасывать мысли и чувства, случаи, происшествия и догадки, которые редки и точно необычны... и (да простит меня читатель) — быть может, не для широкой публики, а лишь для избранных.

И всё же смею надеяться, что в этих экзистенциях удалось отразить грани русского характера, показать, говоря фигурально, *физиономию* поколения. Автор постарался вывести и мужество сопротивления многому чужеродному, всяческого рода чуждым философствованиям и умствованиям. Наблюдения ярко выраженной характерности нашего века и мимолётного времени, не лишённые образности.

В достоинства можно отнести, как говорили мне читатели, и исключительное избегание риторики и псевдопафосных реляций, свойственных иным нашим оракулам. Здесь всё жизненно и сложно. И в то же время просто, потому что лучше, чем карандашом на листе бумаги, точнее художника — никто не в силах начертать послание будущим любителям словесности.

Пространное поле литературы засеяно давным-давно, и колоски сжаты и убраны, и веками ищут писатели на этих полях хоть что-то новое, хоть

что-то своё. Трудно сыскать. Тем более — с полнотой осмыслить на четырёх ветрах нашей жизни даже собственные движения души.

Русский национальный характер во всей его многогранности, народный характер как отгиск забываемый — вот цель этих зёрнышек для голодного и ищущего человека.

Метро

С «Комсомольской» на Кольцевую по эскалатору, глубоко, как в пропасть. И вот всё движется этот нескончаемый поток людей вверх, навстречу мне, и вниз, параллельно, и нет ему конца, не было и начала.

Привычно выстаивая своё время спуска на «чудо-лестнице», вдруг изумился, ужаснулся от этого великого множества людей, среди которых я и сам исчезаю. Обомлел от внезапной догадки, на которую не обращал внимания никогда прежде, что каждый в этой толпе считает главным себя и только себя в этом сонме жизней, всех форм и видов существований. Именно главным, единственным и неповторимым. Его проблемы самые важные, вокруг которых вертится мир. Его мысли самые значительные. В эту минуту существует только он. И так — каждый, и каждая из этой толпы, и я сам в их числе, всегда прежде и секунду до этой мысли, вот только что...

Все религии всех стран и народов говорят о том, что самое, может быть, важное — преодолеть этот порог отчуждения от всех, этот порог «самости». И совершенно ясно стало тогда, что это-то главное условие движения вперёд для души человеческой, как вот теперь на «лестнице» Московского метро скорее всего, и есть и средство, и цель жизни одновременно. И она недостижима...

Агапе

С человека спрос «по полной программе» возможен (наверное) лишь только после его отцовства (материнства). Только после рождения ребёнка он должен стать и нравственно вменяем, и по-настоящему «подсуден». Он берёт на себя ответственность не только за своё дитя, за своё чадо, но и за пришедшую по его ответственности в этот мир бессмертную душу... Что-то станет с этой душой, для чего пришла она в этот мир через этого человека (ставшего матерью, отцом)? И тогда родители становятся «как боги». Они обречены познать боль и тоску творцов, создающих новую (пришедшую в этот мир по их настояниям) душу.

Воспитывает ли осознание такой ответственности само по себе? Меняет ли характер? Наверное, нет. Но вот — имеющие детей, внуков (заметил давно) редко бывают мизантропами. Это — некое сокровенно-внутреннее чувство, очень убедительное. Не случайно и сами дети, и старики так легко

идут «на контакт» друг с другом — они легки на сострадание и знакомство со сверстниками. И вот главное: если родители даже и не осознают ответственности за подопечную теперь судьбу, вверенную им Богом самим, то ясно совершенно, что произведшие на свет жизнь человеческую отец и мать — сами должны стараться быть богоподобны. И это тоже (наряду с возрастанием в мире новой души) одна из великих обязанностей, которые вменяет нам Бог.

...Да и все мы сами — дети Отца Небесного. И, конечно, если родители не порочны и не испорчены, если они не обременены некоей тяжкой родовой порчей, то не может быть того, чтобы отец и мать не любили бы «дитятию».

Хотя бы и сокровенно, прикровенно, не внешне даже, быть может. Хоть и, конечно же, каждый по-своему и на свой лад. По мере дарованных им самим и унаследованных возможностей.

Корона вируса

Прямое соприкосновение с кровью — вот способ и сущность питания души. Дух человека бодр, «плоть же немощна». Кровь же соприкасается-сливается (через дыхание, пищу, органы чувств) с самим мирозданием. Как же премудро устроен человек, если всё, что он видит, чувствует, вдыхает, поглощает, преобразуется и претворяется в нём, как в тигле разогретом, — в мысль, в творчество, в сам стиль и способ существования... И дарована возможность сопричастности миру только человеку, единственно человеку. Поистине для «изделия Божия» — человека: мыслить — значит существовать (так же как для птиц — летать, для рыб и земноводных — плавать). Значит, единственное назначение наше — созидать собственную душу.

Мысль, если она корява, похотлива, завистлива — зачастую от пищи чрезмерной, или часто и не в меру — с алкоголем, табаком, с руганью, страстями. (Не случайно в монастырях во время приготовления и приёма пищи в трапезных назначают чтеца Житий Святых и читают по очереди, а хлеб пекут, пищу варят — обязательно с молитвой.) Это питание не только тела, а и души, особенно через кровь.

И всё, что попадает в кровь, — всё решительно приводит в движение душу, всё и «неприметное» мало-помалу меняет человека в ту или иную сторону. Даже через впечатления, запах; даже через намерение (прилог). А от мира, который как раз и состоит (по большей части ощутительно для нас) в этих соприкосновениях, чаще в борениях, — от этого мира куда убежишь, если ты не монах? Никуда и никак. Так что же, отчаиваться мирскому человеку? Ведь даже «оглашенному», а тем более неверующему без попечителя-старца и настоятеля едва ли возможно отслеживать и бороться страсти свои. «Не отчаиваться нимало», — как сказали бы старцы.

Деньги же, если они попали волей случая и не в те руки, — напротив, ещё яростней усиливают яд этого соприкосновения с миром «через кровь», точно добавленный в горящую пламя под тиглем кислород. Капитал раздувает пламя страстей человеческих. Большие деньги — учащают и ужесточают соблазны, «замутняют» кровь настолько, что человек иногда перестаёт даже и понимать, где добро, а где — зло. Где земля, а где — небо. Конечно, но не без исключений, но имеющий многие деньги (особенно смолоду) с трудом различает, где грех, где порок, а где праведность. Всё ему едино и всё возможно.

И вот «состоявшийся» и самонадеянный — живёт так, словно плывёт на своей яхте, собранной по последнему слову техники. Всех он презирает. (Вспомнить здесь классику — «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого или рассказы И. А. Бунина «Соотечественник» и другие...) Презирали всех и вся и те, как мы знаем, миллиардеры, что отправились в мировой круиз по океану на «Титанике». Презирал всех и «господин из Сан-Франциско», вознаградивший себя и семью мировым турне по Атлантическому океану на «Атлантиде» от Италии к США, планировавший и обратно — не менее «вкусное» путешествие, которое он заслужил. И корабль не подвёл (не то что на «Титанике»). И кочегары работали исправно, как черти в аду. А и хоронить «господина» решили отправить в обратную сторону едва ли не в мусорном контейнере среди ящиков из-под апельсинов, чтобы не портить весёлое расположение и хорошее настроение — богатым и самоуверенным господам, ходившим всё на том же «океанском лайнере», как и этот почивший «господин», имени которого никто не запомнил. (Опасались потревожить «господ», чтобы не дать задуматься им о том, что и многих из них ожидает едва ли не та же, не такая же участь.) И тело лежало в просмолённом гробу на дне трюма, а над ним, в залах, полных света и сияния хрустальных люстр, — вальсировали и вновь и вновь пили дорогое виски, и в разгаре был очередной бал...

Но отчего же так произошло? Какое внимание, предупредительность (за большие деньги) получали туристы-миллионеры... И как они питались, какие отборные ликёры пили эти господа. Вставали рано, намеренно рано, чтобы на заре выпить неспешно кофе или какао, принять ванны, затем — физические упражнения для пробуждения аппетита, и — первый завтрак. Подкрепись бутербродами, ждали второго, более обильного завтрака. Затем отдыхали в шезлонгах, глядя на океан, на волны — пёстрые, идущие под солнцем волны к борту, красочные, «как перо павлина». И в шезлонги опять подавали чай с душистым печеньем. И при всём том все внутренне ждали и готовились к главному событию дня — к обеду...

Господину из Сан-Франциско, как мы знаем, не было и шестидесяти. Точнее, пятьдесят восемь. А между тем мне известен православный монах, о котором мало кто знает, который вкушает святую воду и просфору. Он не вкушает ничего более. Просфора и молитва. И тем жив. Когда его пригласили в ресторан по случаю тезоименитства, он вылил в тарелку с ухой сладкий кисель, положил туда макароны и оладьи. Съел очень мало. И именно для того, как теперь понимается, — сделал так, чтобы не переест, чтобы разжигаться от переедания страстями, не страдать от «гортанобесия»-обжорства.

Кровь, питание крови — прикровенная тайна. ...Помню из детства «резчика» скотины, «резуна», любившего выпить стакан тёплой ещё крови только что заколотого животного. Силы он был несокрушимой. Короткошей, плечистый... А умер, не дожив и до сорока, от апоплексического, как я теперь понимаю, удара. Супруга же его, Ягодка, как прозвали её по деревне (она сама всех так называла: «Ягодка-сыночек, иди-ка, гостинец дам. Только никому не говори. Только тебе»). И совала в ладонь ребёнка ириску. И с таким же словом — каждому), — она была худа, бессребреница. Просфора и водица. И дожила до девяноста восьми лет. И причастилась, успела...

...Кровь. Питание крови. Вот почему литургия (претворение хлеба и вина и принятие их) — величайшее достояние, оставленное нам от Бога самого. Дух, оставленный нам в утешение, и держит на плаву в этом мире, и питает незримо.

...А детство, так нами любимое, — и оно лишь доказательство возможной незамутнённой чистоты. По существу, не замутнённой ещё ничем. Детство — свободное движение и журчание ручейка. Оттого, что состояние нашей крови, русла течения от самого истока свободно, — только это, и ничего более.

Как я чувствовал Бога в детстве! И это счастье бытия! И страх темноты, и чувство присутствия кого-то великого и невидимого, неведомого — того, кто над нами всеми... Его присутствие ощутимо было едва ли не на каждом шагу. Где всё это теперь? И как очистить кровь, загаженную грехами? Вместо того — напротив, многообразный допуск греха через кровь, который даже и состав крови изменяет. И это чувствуешь, особенно чувствуешь, когда заболеваешь физически. И вирус, который пришёл к нам в апреле 2020 года, напомнил о многом. Он потряс весь «земной шарик» и напомнил нам, что то, что дорого нам, — ничто перед Богом самим. Вирус не различает мэра, и пэра, и — представителя палаты лордов... от кочегара и сантехника. И вновь предупреждение человечеству: не балуйтесь с огнём. Не сотворяйте кумиров и не стремитесь добраться до тайн великих и сокрытых от вас путями кривыми, окольными, через

лаборатории (то есть «не в дверь, а в окно»), как «тать и разбойник»).

...Даже если этот вирус от обжорства, гортанобесия. От поджаренной мыши летучей неким азиатом, как нас убеждают. Всё равно вирус этот — «посещение Божье». Несомненно. Вирус этот — напоминание всем, что биологические лаборатории, равно как и обжорство, — производные грехов. Напоминание всем нам, что именно обжорство, и пьянство, и честолюбие — более всего из всех смертных грехов несовместимы с величием духа. И сколько надо сорокадневных постов ещё, чтобы всё изменить, самим измениться, да так, чтобы взалкать по-настоящему. Да и не греха взалкать, а — Неба!

Помилует ли Бог нас и на этот раз, ради семи праведников, анахоретов, аскетиков, подобных тому, который смешил в одну тарелку и первое, и второе, и третье и непрестанно при том творил молитву Иисусову, или потребуются новые эпидемии, войны, недороды, голод, землетрясения, цунами и прочие беды — вот вопрос.

...Вирус прожигает лёгкие именно и только через кровь. Встряхивает наши души, как встряхивает мукомол пыльные пустые мешки перед тем, как развесить их на верёвках на ветру. В кровь больных в реанимации через трубки гонят кислород, который кипит в воде в чистом стакане, прикрученном к стене. Кровь пробивается через раны от атмосфер давления в горло и ноздри несчастных заражённых этим вирусом страшной модифицированной испанки. Вливают литры гормональных и анальгетиков ежедневно. Сам едва не погибший «за красной чертой», отделившей меня от мира, так думал я, лишённый сил и даже права двинуться: «Испытывает сам Господь Бог душу мою. Пробуждает дух».

Не об этом ли времени сказано: «Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляет...» (Мф. 24:40). А у свт. Илария Пиктавийского: «... две мелючие в жерновах: одна берётся, а другая оставляется».

...Не напитавшие кровь свою страстями, не возжёгшие желаниями продлят жизнь, исполнят замысел Божий. Грешники же да покаются: «дай кровь и прими Дух»...

Моя вина

— Похмели, умираю!

Пригляделся — и ахнул: бывшая учительница по истории СССР. Помню, я никак не мог ей простить тройку, выставленную мне за семестр. На экзамене она задала мне вопрос: назови классы современного общества.

— Крестьяне.

— Раз, — зажала она палец.

— И... и интеллигенция!

— Два в журнал и тройка за семестр. Базис и надстройку не знаешь, классы не знаешь. Иди и учи...

Помню, пытался оправдаться, бормотал что-то в своё оправдание, что я-де комсорг группы и что мне стыдно, что, быть может, ещё бы вопрос, хоть один, учил... я учил, и прочее...

— Вот именно, — жёстко и неумолимо оборвала она. — Комсорг — и не знает трёх китов, на которых зиждется вся общественная история.

Она была неумолима и на педсовете. Не действовали уговоры завуча.

— Я ставлю тройку в воспитательных целях и имею на то полное право. Никто не смеет пренебрегать моими уроками, а он пропустил два занятия.

— Он делал стенгазету, вы посмотрите, какие статьи...

Она продолжала курить и на педсовете «Беломор». С таким опытом и заслугами, какие у неё на тот день были, даже влиятельный ректор по завидно красивой фамилии Яхонтов не мог её окоротить. А на мой молчаливый вопрос при открытых дверях собрания и он, и завуч только сочувственно кивали да, пожав плечами, молча прошли мимо.

И вот это «похмели человека»... Похмелю. Поговорим о «классах», «не вопрос...» — как любят теперь говорить молодые да ранние, на всё готовые волчата-сопляки.

...Как пала, и как скоро! А ведь ещё год назад видел её прилично одетой, гуляла с внуком. Хоть и тогда была она уже заметно одутловата, как бывают водянисто-одутловаты почечные больные. Кругла нездоровой и неопрятной тучностью. А ведь какой жёсткий стержень. Как гордилась собой, своими знаниями, эрудицией, незаменимостью своей...

Четвертинку, которую я ей принёс, не всю выпила, убрала. Для кого? Этого не знаю. Закрутила пробкой. А я бы с удовольствием проэкзаменовал её на предмет зачёта о современных «нынешних» классах. Шёл, растерянно озираясь, руки в карманах. Тяжело билось сердце. Как много умных и хороших, «принципиальных» учителей погибло. Они считали, что эти «классы» поменялись с февраля семнадцатого. А их всегда было два: дураки и нахалы. Нахалы взяли у дураков, оробевших и растерявшихся в девяносто первом, всё, что можно, и даже то, что никак нельзя. Бессовестно, безоглядно обобрали, унизили. Опустили личность учителя «ЕГЭ» — какими-то придумками, «относительностью» знаний, реконструкцией общественно-знания и даже самой нашей истории. «Болонской системой», где сам пример поведения, выучки, принципов учителя как примера — перестал быть эталоном для ученика. Принципиальность и неподкупность осмеяли. Широта познаний, опыта, наконец, — стали не нужны. Это поколение «учителей» особенно пострадало — от нахалов, по сути — от своих же учеников. Они учили этих растиньяков, этих нахалов, этих чикагских

мальчиков, «эженов сорелей») — истории и культуре. Убирали за ними дерьмо в детских садах, добивались знаний и умений владения своими мозгами и даже логарифмической линейкой. Тангенс и котангенс, дифференциальное исчисление и логарифм... А не научили главному — сердечности. Цифра выстраивает внешнее, и только литература да история — внутреннее... И вот разочаровались и сами, спились или разбиты инсультом, не выдержали удара «прослойки». Обнищали по жизни, потерялись в веретене времени, в том вихре, когда неясно стало опять: с кем же он, Иисус Христос, и впереди... кого?

Они безоглядно верили общественной истории, морали, принципам, «руководящей роли партии и правительства». И я верил. Верил, что по предмету «Обществоведение» — тройка моя заслужена, и жалел о потерянной из-за неё Ленинской стипендии. И всё выглядело внешне справедливо: стенгазета — только в свободное от учёбы время... Принципы... А потанины, гайдары, фридманы и боровые, бурбулисы, шеварнадзе и немцовы — те истории не верили. Их не «заучили». Они слышали родителей на кухне и верили не учителям, а родителям, высоко поставленным и отобранным, отсортированным «аутсортигом» по принципу бабуиноподобной доминанты. А она проста: тот прав и у того больше прав, кто сверху. Значит, правы папы их оказались. Высоко забрались и были ближе к власти, а значит, и к «правде». «Своей правде», их правде, которую они так точно выразили через подыгравшего им одесского юмориста-весельчака по кличке Жван. Вот, например: «В СССР на майских, октябрьских демонстрациях песцы и соболя стояли на Мавзоле (хищники) и взирали на толпу внизу. На кроликов, шагавших с флагами и с флажками (опять же по шапкам дешёвым как статусу жизни)...» Они, эти «песцы», открывали глаза многим и многим отпрыскам. Отпрыски научились фарцануть, и не задумывались вовсе, и не робели ни перед толстовским «ЕБЖ», ни Шекспир не напугал их судьбой Йорика... Они не читали ни дневников Л. Толстого, ни «Гамлета». Скучно читать им было. Зато скоро поняли, что сильнее денег бомбы нет. А честность и «классы» суть понятия условные и, как мы видим сегодня, ошибочные... И уже не «пыжики» да «соболя» против «собак» и «кроликов» на парадах — а и сами парады отменили. Победа и праздник Победы для них — «победобесие». И ваучеризация, и «МММ», и добровольный отъём денег у населения, сначала Павловым и Герашенко, а потом дефолт с Кириенко, — и с них как с гусей вода, а сколько горя народу... И нищета, нищета, нищета ограбленного населения ради какой-нибудь горстки нажившихся, крах страны, империи. И всё будто бы законно и безнаказанно для «песцов». Вернее, для тех, кто за ними и с ними стоял... И все так и остались

на местах, и все они опять благополучны. Да ещё она — пуще прежнего! А наши учителя? Если бы она попросила цыкуты, было бы, наверное, легче слышать её, понималось бы как ирония... Хотя — какая тут ирония? Слезы...

— ...Так что же... базис, и что такое надстрой-ка? — помню, спросил её, уже спяневшую.

И жаль было и её, и себя до спазма и боли зубовой. И сам чувствовал, как жёстко забегали желваки на моих щеках.

Заслуженная учительница сделала вид, что не понимает, о чём речь, не помнит, о чём он, этот молодой ещё человек. Бывший ученик? Нет, не помнит, конечно, не помнит. Всё забыто, да и к чему вспоминать?.. Она слабо, благодарно и жалко машет рукой. Она добрая, она уже другая, не «железная леди», не «стержень», и уже опьянела. С голоду пьянеешь быстро. Ей уже лучше и легче. Это на короткое время...

Я уходил, силясь не оглянуться на неё. Машинально выщёлкивая папиросу из пачки «Казбек». Заслуженная учительница, редкой честности. И я утешал себя тем, что не сделал ей ничего дурного. И тем ещё, что в её падении нет моей вины. Чем мог, тем и помог ей, согрел и утешил её душу. Хотя бы на полчаса... «Нет моей вины... Нет моей вины...» — утешал я себя мысленно... Но полно. Так ли уж «нет»?..

Криминальный талант

Показывали по тв очень известного в Петербурге авторитетного вора в законе незадолго до его смерти (его расстреляли через месяц, по иронии судьбы — в том же питерском кафе, в котором он давал интервью, — расстреляли по заказу). Этот семнадцать лет промотавший по зонам «авторитет» с какой-то старорусской барственностью «двигал тему» насчёт того, что философия жизни, в сущности, очень проста: делай то, на что имеешь талант от Бога. Правда, от какого Бога — он не сказал. «Всё просто: художник ты — пиши картины, хороший вор — воруй...» Жизнь, по его мнению, и вора, и поэта — одинакова: творчество.

И припомнилось в связи с его словами. Был такой в двадцатых годах — Лёнька Пантелеев. Правильно — Пантёлкин, но незвучно, и потому этот «вор-поэт» взял, как и положено человеку творческому, псевдоним. И вот этот простой деревенский парень, начавший карьеру с участника общественной дружины, то есть «с низу», ходивший с красной повязкой на рукаве и — с такой же наискосок на отвороте ушанки, — он-то и стал ходить в патрулях. Перебравшись в вчк, увлёкся детективами. Правопорядок, помощь по ревизиям, некоторая власть над людьми, а затем и доносы... С того всё и началось. Пробудилось в нём нечто. Что-то от авантюриста. Выгнанный впоследствии из вчк за явное воровство и присвоение

экспроприированного имущества, подался он напрямик в вору и налётчики, опыт приобрёл в вчк. И всякий раз придумывал он новые сценарии ограблений и сам, искромётно, или умело применял к случаю сцены из многочисленных прочитанных им детективов. Использовал даже и ходули в ночных налётах у кладбища, причём налётчики накидывали белые балахоны, точно привидения возносились вверх и вниз, совершенно лишая жертв ограблений разума и возможности сопротивляться. Однажды дочери врача-еврея, известного зубного протезиста, стоя на коленях у дверей, признавался Пантёлкин в душераздирающей любви, а когда она поверила, скинула предохранительную цепь и открыла дверь — была тотчас исхлэстана букетом колючих роз, связана. Был связан и ограблен и еврей, зубной врач, её отец, и даже богатый пациент, явившийся на процедуру так некстати. И зубной техник. И даже домохозяйка. А чтобы стоящие в очереди к стоматологу не заподозрили неладное, сам Лёнька, не мешкая, вывесил табличку на двери: «Приём временно прекращён»...

Не раз бывал почти пойман, но всякий раз уходил от погони. «Фартовый» — кличка была им заслужена. В другой раз, притворившись дворником, залез в тупуп, взял метлу и задремал будто бы у столба на мосту через Неву. Когда догоняющие его спросили, куда побежал Лёнька, — он показал им в другую сторону. Угонял даже у Ленина лимузин, дразнил чекистов своей причудливой, подобной «бенгальскому огню зажжённому» сообразительностью, неуловимостью. Звериным каким-то чутьём. А прокололся на пустом, на том, что когда в трамвае чекист попросил у него закурить, то он, загримированный и одетый в рваньё, то ли шикаря, то ли блатуя, то ли по забывчивости, угостил чекиста лучшими папиросами «Ара» — к тому же ещё и из портсигара из чистого золота.

Некий артистизм и даже творчество воров слышится мне и вот в этом событии. Прочёл о том вчера в «Новостях». Некой богатой семье, богатой настолько (уже в наше время), что члены этой семьи никогда не рисковали все сразу покидать квартиру, а кто-нибудь да всегда оставался стеречь деньги и ценности, — и вот такой семье подбрасывают записку-приглашение в Большой театр на премьеру с Монсеррат Кабалье. С припиской каллиграфическим почерком: «Догадитесь, от кого...» И они не смогли устоять, эти «дворяне» нового разлива. Слишком велико было искушение...

А когда вернулись в свою квартиру, стало понятно, что обворованы. Хаос, раскардаш. И записка. А в ней той же рукой, с наклоном и нажимом уже знакомым, как по прописям, с завитушками и виньетками в нужных местах (теперь это большая редкость, доступная

истинным интеллигентам): «Ну теперь-то хоть догадались?»

Так что и впрямь ли верно: «жизнь — всегда творчество», в великом и в малом?

Отпуст

По случаю похорон в вымирающей деревеньке собралась и стар и млад. Нищенски, одиноко и горько жила бабка. Стояли и говорили, вспоминали, как она жила, обсуждали и то, как из милости носили к ней — кто хлеб, кто ведро воды по немощи её. И когда закопали, охлопали лопатами могильный бугор, вскладчину поминали кутьёй. Бабки крестились и с тайной завистью говорили: — Отмучилась, Царство ей небесное.

Высокая гнутая старуха в чёрном платке, чёрной юбке и кофте говорила — душу рвала:

— Сказано: наступят времена — живые будут завидовать мёртвым. Вот и наступили они, времена эти.

— Где сказано? — спросил я бабушку Маню, зная её с детства религиозной и богомольной.

— В жизни нашей неправедной, греховной, вот где сказано. Ай ты не чувствуешь? Молимся Богу, а сами завидуем мёртвой, говорим: «Отмучилась! Отпустил Господь».

«Живут же люди»

В жилом доме сантехники ликвидировали аварию, вылезли из подвала мокрые, грязные, злые. Сели на скамейку возле подъезда, достали курево. Из открытого окна второго этажа разливалась музыка, высоким женским голосом пела женщина: «Ах, зачем эта ночь так была хороша!..»

— Живут же люди, — сказал сантехник.

— Да, неплохо устроились, — поддержал второй рабочий. — С раннего утра море веселья, а мы как проклятые...

Сидевшая на краешке скамьи старушка искоса глянула на сантехников, сказала:

— Не приведи Бог так-то «устроиться»: с малолетства при костыликах. Бедняга в магазин за хлебом не может сходить. Соседи из милости приносят, она и поёт... Давно её знаю, по квартире прыгает едва-едва по нужде.

— Прыгает, а всё улыбается... И красивая...

— Молодые все красивые: молодость, брат!

— И ты улыбайся!

— Ну что же, всё курим да курим, — сердито проговорил тот, что был самый старший, — пора и за работу братья... Эх ты... «Живут люди!»

— «Живу-ут»... — передразнил самый молодой.

«Всех обманул»

Июльское раннее утро. Макушка лета. Все ещё спят. Неслышно собираюсь за грибами. Вышел на крыльцо — сердце возликовало от божественной красоты. Весь сад заливало солнечным светом,

блестела роса на листьях яблонь и вишен, радостно чирикали воробьи. На улице ни ветерка, ни дуновения, и подумалось, что если будет когда-то чудесное и виденье, то не в ночи и не в непогоде-ветер, конечно, а вот в такой тишине, светлой и безмолвной, когда на улице — ни души.

За деревенькой, над молодым берёзовым лесом, всходило малиновое солнце. На травах — роса, густая и издали — серая. А на припёке играла искристо изумрудами и сапфирами. Серебристая ольха нависла над тропой шатром. А за деревней в овраге косил дед Федот. За распадком-оврагом в загоне из жердей ревели телята, да так, что хотелось выпустить их на росистую траву, растащить тяжёлые оба створа ворот по навозу на базу. Дед клочком травы вытер косу.

— Доброе утро, Федот Иванович! — здоровался я с дедом. — А ранёнько вы встали, ранёнько.

— А я, считай, вовсе не сплю, — задвываясь, говорил дед. — Летом я только после обеда и сплю, да и то только мало-мало, глаза завожу, дремлю... Да и то сказать: когда птички клюют — дуракам деньги дают.

— Это вы о чём? — не понял я деда.

— Да вот, вишь, — трава перестояла, давно бы надо выкосить, а мы спим, проспали такое богатство. Я-то успел, не проспал. Вот, глянь, коса-то вроде кособочит. У тебя глаза молодые, глянь-ка.

От деда несло кисло вонючей сивухой, самогоном с утра. Курил он едкий самосад. Я предложил ему сигарету, но он отказался:

— Я сроду свой табачок курю, фабричным не балуюсь: кто знает, чего они там насуют?

Дед был ещё крепок, и стоило ему только прилечь к рюмке — пускался он в долгие разговоры, всегда горячился не в меру. В той бутылке, из которой он жадно глотнул и закусывал розовым салом и свойским хлебом, было уже на доньшке. Потому, быть может, разговор и зашёл о самом больном — о прошлой большой мировой войне.

— А ныне аккурат годовщина войне-то, будь она неладна. А я... нет, я на войне не был. Не был, стало быть, вот так!

— Да, годовщина... — вспомнив погибшего дядю, деда, контуженного на фронте, не пожившего счастливо от ран даже и после победы, подтвердил я.

И сказал о том Федоту.

— ...Нет-нет, а я на войне не был... Пусть, это, пусть дураки воюют, — он засмеялся сипло.

— Как так? — не понял я, оторопел.

— А так...

Сизое лицо деда как будто опухло, сделалось лиловым.

— Я, брат, Федот, да не тот. Теперь все хвалятся орденами: трень-брень. А я хвалюсь тем, что пороху не нюхал... — и добавил вдруг: — Слава те, яйца.

— «Слава те, яйца» — это же блатных поговорка, а ты не блатной. Уж лучше Бога тогда благодари. Да вот все говорят, что ты не глухой, а притворился глухим, обманул врачей и в войну... А моего деда в войну дважды контузило. И плен... Сколько он выдюжил. Дядя Иван в танке сгорел.

— Да, это страсть, бывает, об уют обожжёшься — и хоть плачь... Не знаю, кого мне и благодарить. И в войну не укукошили, и в тюрьме не сидел. Врачей, быть может, — так скажешь? Нет, брат, лжёшь! Себя только благодарю. Да я не только врачей! — заорал дед (он был глуховат и всегда говорил громко, когда разговор касался войны или его актировки). — Я? Я врачей на кривой кобыле обехал, никто того и не почувял. Да ты хоть знаешь, кто я?! Я весь Сэ-Сэ-Сэ-эР обманул, вот кто я такой! И никто с этими кубарями и в пельках — никто из них не поймал меня за ж... Вот всем сейчас плохо: цены большие, пенсия маленькая, ходят с костыликами. А я, как видишь, сено кошу, во-он её сколько, а косить некому. У меня две коровы, лошадь, а кур, уток и не сосчитать. А почему?

— Почему? — удивился и я, зная ещё и об ином многом богатстве Федота. — Почему?

— Потому что я Федот, да не тот! — сказал как отрубил. — Помни Федота Ивановича, помни, не забывай. Пригодится. Ты живи так: «Будь-то будь, да не будь кем-нибудь!» Девиз такой держи в голове. Да и помни, кто тебя научил, и благодари. И вот ещё чево, малый: живи — никому не кланяйся, а где надо — пригнись чуток, и всё. Понимаешь, о чём это я? Ну, ты понимаешь, смышлённый. Ну, давай, мне пора, а то роса опадёт.

На том и расстались...

Сколько времени прошло, сколько лет, а забыть того разговора не могу. Бывало, идёшь в лес и, собирая грибы, обманешься. Лист вместо гриба, а шляпка — так похожа на шляпку белого. Или идёшь издалёка к подосиновнику, глядь, а это мухомор. Я невольню говорю тогда: «Нет, брат, ты Федот, да не тот». Поганка...

Бог не оставил

Стояла сушь, такая жаркая погода, такая томная, долгая и густая засуха, что на молодых деревьях сохли и свёртывались листья. Старики говорили: «И не помним такого зноя. И картошка не уродится, земля как зола». Но вот с раннего утра не было солнца, небо хмурилось и нависало, как бы собиралось раньше свечереть. Крутило, мutilo. Рисовали в тучах какие-то невероятные узоры розы ветров... И вот редкие крупные капли защёлкали по листьям, так неожиданно-долгожданно и непривычно. Потом потянул лёгкий освежающий ветерок, листья на тополе затрепетали, и вот широкошумно заходили сами вековые тополя, липы в два обхвата задвигались. Стали серыми от испода, вытянувшись в одну сторону, точно по приказу,

яблони в саду... Шелест то утихал, то нарастал, как шум прибоя, и с каждой минутой смелел ветер.

Где-то далеко глухо загремел гром, перекатываясь. Порывистый ветер погнал по улице кур, торопя их и раздувая им перья сзади и хвосты. И среди взмываемой тучи пыли, с гоготом, споря, собирались-бежали, вздымаясь над землёй и травой, испуганные улицей гуси. Наши во дворе у пустого сухого деревянного корыта стали гоготать им в ответ. Наконец всё напористой звонко закапали капли дождя по железной крыше, по пустым ведрам, что успели наставить вдоль крыши на траве. Шорох, перешёптыванье в саду, перестук капель по лопухам, и, будто ожидая и зная всё наперёд то, что будет, недвижимо, приподняв голову, окаменел жеребёнок...

И вот издалека, нарастая и ширясь, пришло шипение настоящего ливня.

На крыльцо вышли все, кто был дома. Ребятишки выбегали в палисадник, радуясь дождичку, визжали:

— Дождик, дождик, посильней, разгони моих гусей!.. Поливай густо, вырастет капуста!..

Грянул оглушительный сухой треск, небо как будто расколосось.

— Боже... Свят, свят, — зашептала бабка, крестясь на икону, и зачем-то стала закрывать зеркало полотенцем, затворяла окна и двери.

И старые, и молодые души охватила тихая долгожданная бурная радость.

Смотрели на сетку дождя, слушали вечернюю радостную музыку грозы, сошедшей мало-помалу на тёплый грибной дождичек и солнце. Желанный дождь.

— С утра пошёл — значит, кормилец, на весь день зарядит. Слава Богу, картошка уродится...

— Пошёл, пришёл, кормилец... Бог не оставил.

Выучилась

На выпускном вечере в школе-колледже пёстрая толпа: родители, преподаватели, друзья выпускников и, разумеется, сами выпускники. Невзирая на трудное время, родители постарались сделать всё, чтобы этот день запомнился. Пёстрые одежды, майки из американских флагов и бейсболки. Модные малиновые и зелёные, не по размеру, пиджаки.

Запускали в небо шары, смотрели вверх — новый высокий воздушный путь каждому выпускнику в голубое пространство... Каким-то будет этот путь? После ритуала с воздушными, гелием легчайшим наполненными шарами, пили шампанское, и кое-кого уже пришлось выпроводить вон, они тайком передрали винца. А одну раскрасавицу учительница литературы отчитывала:

— Как нехорошо ты одета, Наташа! Ноги голые, грудь голая. А — блузка на тебе? Это не блузка, а марля, сеточка. Помнишь, как я вам рассказывала, Цицерон сказал по этому поводу, помнишь? Он

сказал в «Тусканских беседах»: «Обнажать тело на глазах у всех есть начало развращения».

Наташа слушала-слушала, подняла голову и, глядя на свободные улетающие шары, раздельно, с расстановкой, проговорила:

— А хотите, я и юбочку сниму?!

Редкое слово

Ладное слово для писателя — большая находка. Каждое слово самобытное, самородное имеет и форму, и свой цвет, а порой и вкус даже. Вот о таком-то вкусном словце, которое даже и характер, и образ оригинальный, неповторимый образует, и пойдёт речь.

Слово «клебяшка» вы не сыщете в словарях Ушакова, ни у Даля или Ожегова. Ни даже — у Фридриха Арнольда Брокгауза и Ефрона. Изобретено оно в нашей деревенской глухомани, на Рязанщине, в селе Смирновка.

В те далёкие времена, когда ещё пекли хлебы в русских печах, замешивали тесто в деревянных дёжках, затеяв, — прикидывали на глаз, сколько полновесных караваев получится из опары. Иногда хозяйки ошибались, и тогда на противнях, кроме больших караваев, для экономии места, из остатка опары получался неполный, меньше полновесного каравай, хлеб, его называют и сейчас «клебяшка». Хозяйки хвалили свой хлеб, выпеченный на кленовых листьях, нахваливали и недвесок-клебяшку с золотисто-коричневой хрустящей корочкой. А ребёнку смотреть на неё — глаз не оторвёшь. Клебяшку несказанно любили и любят ребятишки, ждали и гордились выпеченным «недовеском», выбегали с ним на улицу, угощали ровесников.

Теперь хлебы в своих печах выпекают редко: хлопотное дело, а и, возможно, не осталось умельцев. Да и рецепты потеряны, забыты средства, потеряны формы для выпекания, даже пропорции, методы и советы-рецепты бесценные от родителей, долгим опытом нажитые. Бабушка пекла подовый хлеб на листьях вишенника, пальцы оближешь, «объеденье, у кого рот большой» — шутила она. А и впрямь караваев, подобных её выпечке, я в жизни не едал ни до того, как попробовал её мякишей да корочек, ни после её ухода. И вот хоть хлебопёков-кустарей своих не осталось теперь в рязанских весях, но не забыто вкусное словцо «клебяшка». Так и прилипло оно прозвищем к молодой женщине — Насте. Раскрасавица на российский русский лад, небольшого росточка, ухватистая, с низкой талией. Стоит и ходит она по земле своей рязанской уверенно, осанистая, словно табуреточка... С виду чем-то и впрямь напоминает клебяшку — вкусный румяный духовитый каравайчик.

Настя торгует в сельпо, на уважаемом месте. А зовут её, хоть и по прозвищу, всё-таки вкрадчиво. Хоть смешно, но вместе с тем и горько слышать по нынешним временам в сельпо:

— Клебляшка, милая, дай буханочку-то, да и сахарку деткам.

— Опять в долг? Под будущую пенсию? — и, прищурившись, на покупателя, глядела выжидательно. — А пенсию ныне оттянули на пять лет!

Старик или старуха оглядывают прилавки, полки. До-олго выбирают, оттянув или чуть приподнимаемая веко по близорукости, — очки теперь не купишь, в деревнях шаром покати, работы по развалинам колхозов и совхозов — вовсе никакой.

Клебляшка-красотка ведёт строгий учёт, записывает долг, фамилии попрошаек в толстую бухгалтерскую книгу. Кругом Клебляшки — все должники. А поди-ка всех-то упомни. Кто сколько и кто за что должен. И сроки. А поскольку пенсию теперь и впрямь оттянули, оставили, то и должников в деревнях да в сёлах прибавилось.

Или так. Довольный покупатель идёт с покупкой, а навстречу соседи:

— Глянь-ка, сегодня и сахар даёт?

— Даёт и сахар.

— Ну и Клебляшка — хитра какая. А мне вчера не дала. Сказала: на самогон не дам...

— А мы детям, ребятишкам.

— Догадались, тогда и я так и скажу...

— Проголодаешься — догадаешься.

— А мне солёдочки. Клебляшка, милая, дай-ка солёдочки посолониться. Она без головы? Мы без солёдки-то — голодные. Одной картошки и осталось вволюшку, — то и дело слышишь в магазине.

Или:

— Гдей-то вы чипсы купили?

— У Клебляшки в сельмаге, где ж ещё.

— Тарас?! И ты здесь, Тарас? Чипсы бери...

— Тарас есть пряники горазд, чипсы яму ни к чаму!

— А цукаты?

— От цукатов брюхаты девки делаются, так, Клебляшка?

Клебляшка не слышала ни смеха, ни шуток. Она дело делала. Оценивала, отвечивала, записывала. Прищуривалась на весы, заворачивала, складывала и опять считала или записывала в огромную амбарную книгу:

— Так, больше вам не дам. Два месяца прошло, ни одного долга не вернули.

— Клебляшка, милая...

— Нет и нет...

— Правильно, не давай ему...

— Бабы делятся на дам и не дам.

— ...И на «дам, но не вам»...

— Каждая... хочет пахнуть фиалкой, понимаешь.

Ну дай хоть косушку, праздник же.

И видно было, как, уступая, Клебляшка чувствовала не без некоторого удовольствия и свою власть, и своё влияние. Умиляло её, как в очереди после завоза продуктов, когда выстраивалась очередь, ближние, чтобы потрафить ей, кричали:

— Не давай без очереди.

А дальние заступались, «впрягались», жалели мужика-бобыля, выпивоху, кричали:

— Отпусти ему, видишь, мается с похмелья...

— Дай яму, не задерживай, он вернёт долг-от!

— Сейчас, счас, «дай», спешу и падаю!

— Эдак, эдак, — поддакивали старухи, добравшись до прилавка, — эдак. Вся власть — она сегодня не в сельсоветах. В сельмагах. Вот у Клебляшки — и власть. У ней и богатство, и довольство. Эдак, эдак, вот так и держи их на коротком поводке. Хотели капитализму — нате капитализму вам, ештя яго с кашей!

— Ой, ой, испугала капитализмой, — лукаво отвечала мужику с похмелья молодка. — А вы пейте таперя самогон из картошки. Что, никак?..

— Нам-то бояться неча, да мы и не бедствуем.

— Клебляшечка, ну отпусти, час стую, ноги протыли...

— Я одна...

...Клебляшка вышла замуж за пчеловода большой совхозной пасеки при «социализме», «в прошлом веке», как шутили над ней. И, конечно, не прогадала. Её как-то спросили (она в это время отвешивала сахарный песок), хорошо ли она живёт с мужем. Ответила, имея в виду мужа, с которым всегда ладила:

— Одна рука в меду, другая — в сахаре!

— Э-хе-хе... — отвечала ей старуха во всём чёрном. — Больно-то не гордись, сказано: «Богатство — в день, а бедность — навеки».

И когда я вспоминаю клебляшку с запахом хлеба, с запечённой румяной корочкой, непременно вспоминаю и Клебляшку-продавца. Одним видом и та, и другая — сами себя хвалят...

Забота

Записи девяностых

Писатели всех стран и всех времён по-разному объясняли суть женской души, женской природы. Они и желанны, они и прекрасны, они и коварны. «Вай-вай-вай, — сказал царь Бахтияр, — воистину козни женщины ничто против замыслов мужчины...» («Тысяча и одна ночь»). Или: «Воистину — всё это ваши козни женские. Воистину, ваши козни велики!» (сура 12, Коран)... И порочные, и добродетельные. И жестокие, и милые... Женщины... Что говорить, если бы не они, мы все не были бы вскормлены и обласканы в начале нашей жизни, ухожены и лишены радости в середине и лишены были бы заботы в конце...

Думается порой, что лучше многих суть женской души понимал И. С. Тургенев. И самое главное, что ценил он в женщине, — необыкновенную способность заботиться о ближнем. Он сам, по его словам, великой славы и достатка человек, был «готов отдать все свои писания за то, чтобы какая-то

женщина заботилась о нём», которой «было бы небезразлично, опоздает ли он к ужину».

Наблюдая жизнь простых людей, приходишь к выводу, что — да, трогать себя нещадно и в мелочах, и по большому счёту, забота о детях, муже, внуках, внучках — самая суть женской души. И что всего обидней — это то, что мы, мужчины, по большей части не дорожим по чёрствости своей, не способны ценить это бесценное сокровище — движение женской души навстречу, а даже и не замечаем порой. И как тут не вспомнить Николая Заболоцкого, страдальца, неповторимого в стихотворениях последних лет, незаурядного поэта?.. «Микстуру в зелёную рюмку ему наливает жена...» А сколько раз в тех же трагических девяностых в семьях самого разного уровня приходилось наблюдать: женщина, мать, сестра — приносит обнову. Принесла вот, стояла в очереди. Долго, трудно стояла. «Достала», как тогда говорили... «Иди примерь: подойдёт ли?» И тут в ответ: «Погоди ты с примеркой», — или: «Потом когда-нибудь», «Как-нибудь в другой раз, очень занят»... — и прочее.

...Помню, стоял в очереди в то самое горестное время «дележа и голода» девяностых. Хамово время, беспощадные очереди не забыть. На каждом шагу толпы у прилавков и «... вас тут не стояло». «Святыми» девяностые объявила неизвестная особа, о ту пору «первая леди» с монголоидным типом, приземистая, хищная... Она не знала боли простых женщин России. Они стояли едва ли не сутками за детским бельём, продуктами, с записью номера очереди химическим карандашом на руке... Тогда вмиг создавали очереди две-три тётки, взявшиеся «из ниоткуда», «как с неба свалившиеся». И тотчас, не без причины, выстраивалась за тётками очередь — и, оказывается, да, что-то «вётбросили» на прилавок.

Рядом со мной оказалась женщина лет сорока, с редким пушком на верхней губе, с заметной сеточкой морщин на висках. Видно, что ни волосы, ни губы её давно не знали красок, она не улыбалась в праздник. Даже одета она была как-то даже излишне опрятно, как одеваются обычно начавшие уже стареть одинокие женщины.

Очередь не уменьшалась, а увеличивалась и скоро забурлила ручьём, кто только и откуда только взялся. А был канун Светлой Пасхи... Уже к вечеру оказалось, что стояли не зря. Детские откидные летние коляски «Мальвина» стали выносить лишь за закрытую магазин. И вдруг...

— Уйду... — сказала эта понравившаяся мне женщина. — Простите, уйду, не стану стоять, — сказала она в очереди.

— Вы не будете стоять? — переспросил я удивлённо.

— Нет, не буду, пойду... — и вдруг добавила: — Мне теперь не о ком заботиться...

И это её «теперь не о ком заботиться» — было тяжелее скалы. Эта интонация отчаяния сразила. Сколько их, наших милых добрых женщин, овдовело тогда. Отчаяние мужей, потерянные ваучеры, вложенных не туда (а все вложили «не туда», как оказалось, и я сам тоже). От французского технического спирта «Ройяль» для разжигания каминов, от фуфыриков «Ферейн» Брынцалова, от пули или разрыва взрывчатки, от тоски и неверия умирало ещё больше мужиков, чем в войне под Грозным.

Думая-гадая о её судьбе, я достоял-таки и добился коляски «Мальвина». У меня было двое на то время, но дали только одну, и то красную, на девочку.

— А на мальчика? — спросил я.

— Нету. А мальчужковую получишь, если ещё раз отстоишь три часа, — сказал мне грузчик. — Ельцину своему скажи спасибо. И Гайдару мордатому с косым Чубайсом.

...На третий день, ночью, выйдя на лестничную клетку с сигаретой (купленной по талонам), я обнаружил, что... коляску украли.

Не знаю, дым ли сигарет располагает к чувствам, чувства ли к дыму... Разговорился, помню, тогда, дымя с соседом по лестничной клетке табаком. И вспомнил при нём недавнюю поездку.

Работал я фельдьегерем о ту пору. Бригада была боевая. Кто колбаски приобрёл на продажу по дороге по Сибирскому тракту, кто шампунь, кто женские чулки — всё на продажу, для выручки. Но более всего выгоду давали водка и сигареты. Их брали в Москве на талоны, как теперь говорят — «с откатом». И вот на каждой станции набегала толпа к нашему спецвагону, что было грубейшим нарушением инструкции, и под страхом увольнения мои коллеги обогащались с толпой:

— ...А вот чай со слоном! Кому надо — заварём!

— ...А вот она! Глади веселей! Колбаса.

— Варёная или копчёная? — спрашивали покупатели.

— Колбаса копчёная, балда заворочённая! Налетай, не бойсь, покупай-торопись!

...Мимо вагона вдоль состава шла старушка

— Бабуля, возьми старикку «Примы» блок и бутылочку водочки, недорого отдам...

Никогда не забыть, как старушка посмотрела на нас снизу, с насыпи, вверх, в тамбур спецвагона... Она посмотрела снизу вверх на фельдьегера, стоявшего высоко, по-барски, на фартуке, и вдруг заплакала, уткнулась в варежки.

— Да купила бы, милый, за любые бы деньги. Нет теперь у меня старика. Месяц как помер...

И пошла понурясь.

Поезд набирал ход, обгонял её, обогнал, оставил далеко позади. А я у раскрытой двери вагона стоял, удаляясь, и всё смотрел на сторбленную фигурку.

Постояй-постояй, где это было? Под Пермью... или Амазар. Впрочем, какая разница?..

Покурив с товарищем в подъезде, решил молчать в тряпочку, вернее — в сигарету, про украденную коляску, не огорчать домашних. Да... уж на что «святое было время» — ни в сказке сказать, ни пером описать. Кто-то делил и рассовывал по карманам восемь миллиардов долларов помощи от мвф, а кто-то — полкартошки на троих. Мужья, дети, семьи, оставленные без средств, — деньги отняли банки, а управляли ими дубины-Дубинины, Геращенко да некий Павлов, банкир. Имён-фамилий их теперь не помнят, а зря. Без медицинской помощи осталась страна, без возможности купить даже и за баснословные ассигнации хоть какой-то товар, хоть какую-то мелочь. Народ вымирал по полтора миллиона в год без средств, без лекарств, без стирального порошка и мыла. И это тоже всем им сошло и сходит с рук. Манипуляторам-чиновникам той поры. Поразительно! В царской армии офицер, потерявший личный состав, подлежал суду чести, капитан в судоходстве, утопивший корабль, сходил в спасательную лодку последним. Но и это считалось позором, потерей чести. Подлинно капитан, дворянин — либо уходил на дно с кораблём, сделав всё возможное для спасения экипажа и пассажиров, либо стрелял в свой висок, на виду у всех, на палубе. А эти едва ли не все... Эти все «на плаву». И сегодня.

...Так и не узнал я трагедию той красивой женщины. Но свято, конечно, не время девяностых «лихих», а свята боль таких, как она. Свято женское горе... Никакой чиновничьей, чернильной кровью, даже и офицерской-фельдъегерской честью и кровью — не смыть позора от обид и унижений наших бесценных подруг. Матерей, сестёр, бабушек, дочерей. Девушек, женщин, униженных бессердечием.

— ...Да разве бы я своему старичку не купила бы чарочку или табачку?.. За любые деньги бы купила...

Или:

— ...Нет, нет, пойду. Мне теперь не для кого очередь выстаивать. Не для кого стараться...

...За слёзы детей и женщин наших нет и не может быть прощения никогда. И прежде всего нам, мужьям, отцам да братьям...

«Не журись, дядя!»

Про мат и бранные слова много сказано, и поделом. И гневного, и компромиссного, и даже оправдательного. Бесцветного тоже много. Либерально-эпатажного: «мат как языковую норму» обсуждали не раз и по каналу «Культура» по инициативе всё того же эпатажного бывшего министра. И сказали много «быковского», даже быковатого, на толпу рассчитанного, на шумный

и дешёвый успех. Да это и понятно: арена защищает от ярости благородной, а телевизионная арена защищает лучше доспехов. А там, где подмостки, там, как известно, «мильён меняют по рублю». Без мата и низких истин, понятно, наш театр — ничто. И как странно-скоро стал он мелок, пошл и прививает дурновкусие. Но и того мало: странным образом сгорели архивы плёнок-записей русских хоров, бесценные, невосполнимые. Зато заполонил теперь всё «блатняк», или, как его называют, «русский шансон». И вот в Кремлёвском дворце безголосый Пейс шпарит новоделы про зону Танича, а ему подпевает дюжина молодцов, переодетых в форму офицеров в фуражке с красной тульёй. И приходят тысячи слушать песенки, где мат для прикрытия прикрыт словами-паразитами, но он вполне читаем и додумывается. Поразительно. Как низко пали. Даже не так, а вот что: сожгли архивы русских песен и подменили незабываемое — полым. И многим кажется теперь, даже и поэтам, и сценаристам современным, что если не поставят, не вдуют в текст похабное, так молодёжь и смотреть не придёт — «западло».

Помню, как на «Отелло» Дездемону — которая почему-то в мужском облике была — схватил в последнем акте некий «Отелло», но вовсе не мавр и даже не сарацин, он даже и не загорелый. А за спиной услышал шёпот молодой пары:

— Это кто?

— Да Дездемона же!

— А почему она — мужчина?

— Это инверсия автора, дорогая. Это его право, он так видит...

— А этот, толстый и большой, — Отелло?

— Да, конечно. Ну, ну, Отелла теперь, а?

— Так тот негр, а этот белый...

В ответ огорчённый вздох:

— Значит, ты так ничего и не поняла? Эх ты...

Не понять такую мысль... Странно. Это даже странно, честное слово.

И вдруг со сцены — матерная брань. Сказать правду — это не просто шокировало, а взвинтило до ненависти. И тут же, расщипав, какой-то работяга, слесарь, что ли, вдруг поднялся с кресла и дал такую «ответочку» сцене, что все замерли. Повисло молчание, потом неуправляемый, истерический смех повис в этом горе-театре. «Вот куда надо чаще ходить, — подумалось тогда, — в слесарки. Там больше узнаешь и подчерпнёшь, чем в нынешнем театре». А то какие-то студии, «Гоголь-центры», Седьмые и Девятые студии. Выпендрёж один. А ведь многим из моего поколения пели, не забыть того, «Колыбельную», для Алёшки. Там и такие слова были, помню. (Старший брат пел малому, которому два годика, и он ему за отца стал. Они остались сиротами, жалостливая песня.) Слова такие:

У тебя на всё готов ответ,
Знаешь ты, Алёшка, «да» и «нет»,
Но не знаешь, Лёшка, только ты, только ты,
Что бывают синие киты...
Что бывает мятая трава,
Что бывают бранные слова.
Я тебя от них уберегу, сберегу.
Спи, Алёшка, баюшки-баю...

Старая песня. Послевоенная, наверно. И здесь всё понятно. Ясно без пояснений. Так воспитывают после большой всенародной беды. После войны, мора, голода. А сегодня тут — что же, и ковид даже не пугает, и страх Божий не берёт, как были пошляками, так пошляками и остались. Только безоглядны стали; а и впрямь, коли бывший министр культуры убеждает, приглашает к дискуссии, так сказать, по ТВ: «Без мата нет русского языка».

Давно... теперь, кажется, бесконечно давно, в те времена, когда главный редактор «Юности»-журнала спешно собрался и уехал послом в Израиль, издал я в журнале этом у Лаптевой Эмилии Алексеевны и Липатова Виктора, ставшего главой названного журнала, исследование, которое называлось: «Душа частушка», или «Частушка — душа народа». Эта фраза, быть может, покажется затасканной, а в литературе едва ли не штамп. Но только кажется...

Кто и как придумывал частушки, ещё никто точно не выяснил. В деревне и сейчас праздники, гулянья и застолья не бывают без частушек и самородных, «своих» песен. И если верно рассуждаю, частушка — зеркало, отражение времени. И в том исследовании — без единого матерного слова, а там была задача нешуточная: частушками проследить и подтвердить историю нашу. Нашей страны, СССР, затем и — России. Частушки — без единого слова мата. Задорные, ёмкие. Грустные и залихватские. И Лаптева, и Липатов были удивлены, даже обрадованы. И в то нищенское время нашли шестьсот рублей в награду (это по покупательной способности примерно то же, что и сегодня, в 2021 году, — шесть тысяч), заказали позолоченную табличку и выдали торжественно. Тогда это называлось: «наградить литератора, писателя премией имени Б. Полевого». Удался очерк. И перепечатан был впоследствии и в книге.

...В наше коварно-ковидное время — даже ни грех, ни матерная брань не пугают уже никого. Привыкли. Девушки, молодёжь, — и мы это слышим — порой загнут вдруг такой «угол» из слов, что только ахнешь, хоть святых выноси. «Слов немного, быть может, пяток, но какие из них комбинации...» — сказал как-то сатирик. И вот в «центрах» Гоголя, Сахарова, Ельцина... где только не слышал я сквернословия. Но в театрах-центрах мат особенно обидно слышать, по-настоящему

ранит. Особенно если вспомнить чистоту русского театра. Прославленные в лике святые говорили, что мат — молитва inferнальным духам. Вспомнить разве песню Ф. Шляпина в пьесе Горького «На дне»: «Солнце всходит и заходит...» Какой подняли скандал: «уличная песня в театре». И это при том, что в песне нет и намёка на брань. И всё это происходило в то время, когда сцену, подмостки именовали не иначе как «позорище». Как же обзывать «храм искусства» сегодня?

Частушка — душа народа... Но вот отчего-то в наше время, такое трагическое, когда апрельский коронавирус заражает и убивает миллионы людей по всему «земшару», — как-то особенно скоро вошли и стали приметны, даже привычны бранные слова, которые, на мой взгляд, едва ли не хуже мата, едва ли не страшнее. Это отглаженные и предметно, и постоянно употребляемые формы слова: «убью», «убийство», «убили». «Убили врачи своим безразличием к больному коронавирусом»...

Молодая мамаша кричит малому сынишке в Москве, в центре городской людной улицы, на детской площадке (оба в масках от вируса). Кричит она невнятно, сдавленно, в себя, «в горло», как сказала бы в театре, но с лютой неподдельной ненавистью:

— Куда полез? Ну-ка вернись, сейчас убью!

И тогда, мой грех, не удержался и сам я, не смог. Снял свою маску-намордник, а дело было в Отрадном, среди цветущего мая. Площадка — напротив противочумного центра и ресторана «Белая Скала». Указал ей на машины, прибывающие и отбывающие с огромными сумками-холодильниками для проб на вирус. КАМАЗЫ с прицепными баками, до краёв наполненные пеной — антиковидной смесью, то и дело выезжали и въезжали на мостовые и пенили из шлангов асфальты и зелёную траву. Молвил ей:

— Малое дитя, во дворе играючи, полезло вверх по лестнице — молодая мамаша уже кричит: «Куда полез?! Слезай сейчас же, убью».

Она посмотрела на меня с нескрываемым презрением и ответила прокуренным, глухим, шипящим, не звонким, сатанинским каким-то шёпотом, в котором я не сразу разобрал скрытую угрозу:

— Не журись, дядя. Это у меня присловье такое. Я так с ними со всеми, не только со своим.

— С кем «со всеми»?

— Я, дядя, заведующая вот этим детским садом, который теперь закрыли.

Я обомлел. «Ну, эта заведующая, без сомнения, успела насмотреться „голубых“ Дездемон и Отелло», — стало понятно мне. Или часто посещала она с детьми названные «центры», а там хорошему не научат...

«Не убий» — первая из заповедей Книги Книг — Евангелия. Православный народ, да и вообще

христиан, в былые времена называли не иначе как «народ Книги». Верующих по Книге. Понятно, какую книгу имели в виду. Библию, конечно, с её первой и главной заповедью «не убий». Кто может восстать на Библию? На веру? На нерушимую тысячелетиями заповедь, за которую во времена не столь далёкие отлучали мирян от причастия на двадцать пять лет? И сказано: «А кто скажет ближнему „рака“ — подлежит геенне огненной» («рака» — бранное слово).

Но вот, будучи даже и в деревне на свадьбе, молодая женщина при мне, желая подчеркнуть новизну и оригинальность сложенной недавней частушки (примета времени), — умело притопывая, размахивая руками, пела:

А мне милый говорит:
«Милка, я тебя убью!»
Неужели ты не чувствуешь,
Как я тебя люблю?...»

И ещё:

А мне милый говорит:
«Милка, я тебя убью!»
Поневоле отвечаешь:
«Горячо тебя люблю!»

...Помню ещё, проходившая мимо нас, мимо меня и заведующей детским садом, против противочумного центра старушка, по виду из тех директоров и завучей, которые воспитывали моё пионерско-октябрятское племя, услышала наш спор, остановилась и молвила:

— Убить-то легко, а душе каково?!

«Малый налой»

Бабушка в избе, убирая кровать, клала две большие подушки одну на другую, а сверху — совсем маленькую, как бы детскую. Каждое лето я проводил у неё в глухой рязанской деревне, и вот как-то она, совсем уже дряхлая, тяжело нагибаясь, убирала покрывала, подушки на свой, известный ей только лад. Всё аккуратно взбила и покрыла сверху тюлем с каймой своего плетения. Мне смешна стала эта её аккуратность чрезмерная, раз от разу всё одно и то же. Щепетильность такая напомнила, как в армии отбивали мы перевёрнутым табуретом и пряжкой солдатского ремня — ризку на одеяле, кантик. А прапорщик Гура бдительно отслеживал, чтобы три полосы на одеяле совпадали как по струнке по всему ряду...

— Дай-ка я по-новому уберу, бабуля, — сказал я ей. — Чтой-то посушу на солнышке, вынесу, на частокोल вывешу, вот и одеяло. Высохнут — пыль погоняю, поколочу подушки через мокрую тряпицу.

Она как-то странно посмотрела на меня:

— Ой, нет, нет, я сама... Мужикам убирать кровать — грех...

Почему грех? Она не стала объяснять, сказала только нечто уже слышанное:

— Мужики должны заниматься своими делами, а бабы — бабьими...

— А вот маленькая подушечка эта сверху, зачем она? — полюбопытствовал я. — Прямо как в сказке «Маша и медведи».

— Это не подушка, это думка-задумка...

— А почему её так назвали?

— Бог знает почему... На ей неловко спать, а только думать ловко. Заснёшь, а голова скачивается, сама говорит: дескать, не спи, думай, как жить дальше... Для чего это ты, соколик, всё спрашиваешь про бабы-то дела? Шёл бы дров наколот...

...К. Паустовский любил рязанские места, слова «родник», «окоём» он услышал на рязанской земле. Не скажу, что Рязанщина только и говорит звучным, штучным, исконным языком. Тут и «кишшо», и «мяшок», «гребяшок», и «грыбы»... Но какое разнообразие лексическое, пиршество фонем! В одной деревне — Ванёк, в другой — Ваньчка, километра за два-три — Ваньша, Ванец, Ванятка... Или Лёнчыка, Ленёк, Лёша, Алёша, Алексей...

Когда мы ходили в соседнюю деревню учиться, если кто-нибудь защемит-прижмёт руку или палец, кричали: «Уяк, уяк, ты мне палец прилошшил!»... А если заснул, то: «Спал, да так, что даже сбредил то-то и то-то...»

Сколько хрустальных и золотых слов и оборотов ушло, кануло в Лету, не записано. Это и «кулижка», и «ялань», и «чресседельник»... А кто знает, что такое «кочедьк» или «опоёска», «пóлость», «гайтáн»? Но вот слово «думка» — осталось. Самая маленькая, с кулачок, подушка, та, что сверху всех других, под тюлем.

...Слова — жемчужины образности, как бы вместившие множество понятий, и среди них такие: «прясло», «пешень», «пáхталка» (для взбивания масла), «недоуздок»... Хотя красивые слова ещё живут и в Орловской, и в Курской областях...

На кулачке, или на думке, молились дома молитвенники и молитвенницы — исихасты. Зрели они в молитве, чтобы не уснуть и творить самодвижную Иисусову молитву так: кулачок под ушко, кулачок на думке. И держат одно только, сочетая слова с дыханием: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Чуть задремлет, голова и скатится с кулачка. Волей-неволей проснётся.

Или молились так. Садись на маленькую «стулку»: согбнным-то не очень уснёшь. Брели в свободную руку лжицу оловянную или железку какую-нибудь. Если задремлешь, лжица падает на пол или в разлатую широкую тарелку, в миску звонкую или в медный таз. Сразу очнёшься

молитвенник. И опять продолжит движение мольба к Господу. И так всегда, и всю-то ночь даже, начеку.

«... Придя, найду ли веру?...» — вспомнилось из Евангелия. И тогда понял я бабушку — понял то, как подушечка эта простая дорога ей. Не подушка даже, что «под ушко» подкладывают, не «думка-задумка», а «малый домашний налой». Для умно-сердечной молитвы.

Любовь

Старые люди, благодаря большому жизненному опыту, временами, а часто и не отдавая отчёта себе, говорят крылатые фразы, высыпают перлы родного языка. Может быть, кто-нибудь знает такую поговорку: «Волчок стоит, пока крутится...» Имеется в виду юла. Раскрутишь её — она гудит и пляшет на месте. Останови её — и вот она уже на боку пляшет, большие круги выписывает и замирает. Это тот же «принцип велосипеда», который не валится единственно, когда движется.

Я слышал вот что от одной старушки восьмидесяти девяти лет. Её спросили:

— Что же, вы, бабуля, всё работаете? Отдыхали бы дома: бай-бай...

Было раннее декабрьское морозное утро, в такой мороз хороший хозяин и собаку не выгонит на улицу. Мороз жёг, терзал кожу щёк и дыхание перехватывал. Быть на улице в такую пору — себя не жалеть. Бабушка уже убрала в сенцах, в проходной комнате, выметала мусор. Изморозь шубой висела с единственного оконца в сенцах. Из дверей пар так и валил, лишь приоткроешь их. Холод врвался в двери, а бабуля тяжело выпрямилась, седые волосы выбились из-под пухового платка.

— А чего мне дома-то сидеть? Если б я сидела да лежала, давным-давно была бы в тихой роще... Что, замёрзли? А вы побегайте. Волчок стоит, пока крутится... Так-то вот я-то и кручусь... Дело не дело — на ногах.

И понятно стало, что «крутится» она, чтобы стоять. Ляжет да попривыкнет лежать — и всё тогда, конец.

— Что же, никто не помогает — дети, внуки? — пропустив мимо ушей главное, удивились молодые.

— Я сама им помогаю. Им много надо всего, а мне... ничево...

— Как так, вам ничего не надо?

— А мне всего хватает. Всё моё со мной. Оттого и крутится мне — ловчее, легче, чем им.

...Но вот бабушка Мотя заболела, пролежала в больнице три дня и сгорела, покинула сей мир. Увезли её в «тихую рощу», а она так не хотела туда отъезжать, крутилась; если что-то подать, принести: нет, нет, я сама, я должна двигаться. И такое тихое, незаметное постороннему геройство: через боль, недуги, бессонницу и слабость, а всё «я сама»... И что же помогало ей, что поддерживало

в кружении? Желание помочь ближнему, забота о внуках, правнуках, детях... Всё для них искренняя любовь... Вот это и есть та любовь, о которой сказано: «Возлюби ближнего...»

«Без пути — без дороги...»

У рязанских стариков и старух из глубинки — потомственных крестьян исконных — из поколения в поколение слово «гулять» имеет смысл совсем иной, непривычный для городского. Другое значение — ходить на праздники в гости, «справлять» церковные или «советские» праздники (демократические всё-таки никак не приживаются). Гуляют до сих пор ещё — с выпивкой и старинными песнями, гуляют и на свадьбах... А вот приехать в родные места и ходить по ягоды, грибы, на охоту — это не гулять, а «шáться»... или «шататься».

По твёрдому убеждению стариков и старух, не может исконный крестьянин старинной закваски бросить крупные дела по домашности и пойти, скажем, по грибы (за грибами) или на охоту — немыслимо. Дело это не стоящее, серьёзному человеку не приличное, разве только глубокой осенью, когда всё убрано, поделано... Людей таких, праздных, гуляющих, презрительно называют шагунами...

— Эх и дурак! — говорили про одного заядлого охотника, дед и отец которого были охотниками. Вот и шатается по кустам, бережкам да овражкам: зайца выцеливает. Заплата на заплате — и штаны, и рубаха, а ходит, ветер ловит... Как были они... — и тут довольно точное прозвище употребляется, — вся их порода, как были шагуны, так и остались...

Если смотреть глазами старого крестьянина, а не городского жителя, можно понять исконных крестьян: ходить, «шаться» бережками да лужками — дело не стоящее, презренное. Убьёшь только драгоценное время, и ничего более, а дел невпроворот. Даже если дали выходной в совхозе, что случалось крайне редко в не столь отдалённые времена, да ещё в деловую пору, — редко кто отпраивлялся «гулять». Разве мало дел на дворе своего хозяйства? Даже если на больничном — и то «шатание» осуждалось. Не может стоящий, серьёзный крестьянин, «рачитель», у кого в избе домовито и живёт он крепко, — не может пойти с удочкой или ружьём, даже с корзиночкой «шататься»...

— Это вы где же шатались-то?! — с беззлобным и как бы радостным удивлением спрашивала нас старушка, если мы рано утром вставали и она не слыхала, как мы ушли за грибами или на рыбалку. — Глянь-ка, а я ноне проспала, не учуяла вас...

А если за орехами ходить или гулять по заброшенному, запущенному саду, глазеть, «лупить глаза на облака», долго смотреть на совхозные поля в синей утренней дымке — это уже несомненно и точно «пустое шатание», глупое

времяпрепровождение. Да что там — чтение книжек, написание стихов или работа за мольбертом непонятны и смешны в деревне.

...Наблюдая стариков, старух во все времена, когда была хоть «кое-какая скотинка», — я заметил, что просто так старики не гуляли, не тарасили глаза на облака, на закаты, на рассветы, а роса жемчужная со всей её красотой с утра нужна была единственно для косьбы, до травостоя полуденного... Но, как говорится, «кто без греха, бросьте в него камень». Помню, бабка — ох уж эти бабки! — пошла к соседке то ли за спичками, то ли за керосином для примуса, да и заболталась деловая старушка, а время было к вечеру, ужинать пора. Картошка в чугунке — даже и та не очищена... Лежит картошка помытыми камешками-голышами, как живой упрёк «безделыванию» бабушкиному.

— Ой, какая я глупая, прошаталась, — сетовала бабка, сама собой недовольная... — Пронаталась, заболталась я. Фрося — чисто колдунья, вот только и слушай её, всё говорит и говорит... Пронаталась, без дела просидели битый час. Ой и разговористая, ох и болтушка-говоруха. Заслушалась её.

— Ну и что? Посидела бы и ещё с ней. Что мы, картошку себе не почитим?

— Нет, нет, грех бездельовать, а то что ж, зацепились языками и всё забыли-запаматовали, грех!

...Летом, когда к старикам приезжают городские родственники, чаще вечерами, из окон слышались громкие голоса, песни, звенят старые балалайки, вздыхают всей гаммой басов гармошки с западающими планками. «Гуляют», — говорят старики про такие «тёплые» дела.

— А что же и не погулять? Наши вот не едут к матери, и весточки нету... И погуляли бы, и за грибами пошатались... Все люди как люди — все грибы оберут, а наши рогозей приедут к шапочному разбору, и то едва ли.

Если гости расходятся по домам в нестойком виде — тоже не дело: негоже, тоже «шатаются». Таких встречают на улице ехидными улыбками, провожают взглядами с тихим ворчанием: «Нажрался на халяву — аж шатается, шатать-шатать... Через губу не переплунет, так жаден до выпивки...»

...В соседнюю деревню прежде ходили за спичками, солью, хлебом. В деревне не осталось ни кола ни двора, три старушки доживают теперь

без выезда, постоянно. Двухколёсная тележка облегчает им труд. Старушки дня за три доготавливаются, так чтобы никто из них не был занят работой. Утром идут в сельпо соседской деревни, там ждут продавца. Бывает и так, что ровным счётом ничего не купят и тогда делятся между собой последним, чтобы хоть как-то выжить, дожидаться, когда в магазин коммерсант из «новых русских» — а чаще «старых не русских» — привезёт из района что-то стоящее, а главное бы — недорогое. А так — всё заняты, что-то делают, копошатся в земле.

(И откуда это ощущение, что жизнь нельзя так просто пропить, промотать, прогулять? Эта врождённая память, что ли, что жизнь — дар великий и что часы нашей жизни и скоротечны, и все сочтены? Беречь их следует, ведь это врождённое чувство, если задуматься, — большая тайна.)

— Надо же, так прошатались, день-деньской возле магазина ошивались.

Почтальонша — женщина-предпензионерка, не на пенсии, а — «юная», пенсионерка, в разряд молодых на пять лет переведённая недавним указом чиновников. «Президент пять лет жизни всем добавил от щедрот кремлёвских», — шутит... Тоже «шатается». Её ждут, надо получить пенсию, — а она тут знает всех, хотя живёт в соседней деревне, километров за семь: тут чайку попьёт, там угостят, если есть чем, — а её ждут, почтальоншу. Ждут долго, до обидного, «юную». И если ждут, то «шáется» она или «шатаётся» особенно, нестерпимо долго. И тогда с обидой, дурашливо: знает ведь, не приезжая же она из города, что надо и кур кормить, и козу подоить, поросёнку корма задать...

— И где же это она шатаётся-то? Поди-ка глянь-ка, Маланья, ты на ноги-то лёгкая ещё...

— Шатаются и шатаются... И чего шатаются?..

...И вот, когда я возвращаюсь в Москву от бабушки, я твёрдо понимаю, вижу, чувствую: редко кто занимается делом в этой самой Москве. Жируют-безделуют. Гуляют — одно слово. Может быть, оттого мы все так и живём: не живём, а — «шáемся», «ошивáемся», «шатáемся». Без пути-дороги... А как нужно жить правильно и сдержанно, нацеленно, не знаем. Утратили связь с предками и традициями, вот и шаемся-шатаемся без пути, без дороги.

Окончание следует